

АЛЕКСЕЙ КУДЕЯР
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
ЛИСТОПАДА



18+

Алексей Кудеяр

Первый день листопада

«Автор»

2026

Кудеяр А.

Первый день листопада / А. Кудеяр — «Автор», 2026

Карпаты, 1775 год. Извозчик-контрабандист Григорий берётся за простую работу: довести через горный перевал безымянную поклажу и сдать с рук на руки троим покупателям. Шесть дней пути, лёгкие деньги. Вот только заказчик не сказал, что прячется внутри и почему груз велено держать в холоде, подальше от людских ссор. В занесённой снегом корчме на перевале Григорий переживает непогоду с покупателями и старым корчмарём. Метель запирает выход, припасы тают — и становится ясно: под одной крышей с ними зимует нечто, чему лучше бы остаться неназванным. Тёмное историческое фэнтези. Грязный реализм, чёрный юмор, холод до костей. Это лишь начало. Архитектура романа уже выстроена от первого до последнего шага — всего будет одиннадцать частей, разнесённых по разным эпохам и реальностям. И каждая — это фрагмент единой загадки, хитросплетения которой сойдутся воедино только в финале. Сейчас публикуется первая из них.

© Кудеяр А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Часть I. Первый день листопада.	5
Глава I	6
Глава II	8
Глава III	10
Глава IV	13
Конец ознакомительного фрагмента.	16

Алексей Кудеяр
Первый день листопада

Часть I. Первый день листопада.

Глава I

Забудьте про окно, добрые люди. Нечего там высматривать. То, что сыплет сейчас — пух из перины, морока для глаз. Я видел метель, которая сшивает небо с землёй. Глогает корчму с крыши и держит, пока не выстудит до голого камня. Я под такой выживал. Давайте сюда кружку. Буду говорить. И чтоб ни звука, покуда не закончу. Из моего рассказа по своей воле не выходят.

Мне было двадцать пять. Это помню твёрдо — тот год из памяти не вытравишь. По зиме в Москве, на Болоте, четверговали Пугача — казака, что в покойного государя рядился да полцарства за собой поднял. Весть до чужих краёв докатилась, по шинкам гудела. Царица после бунта гайки закрутила так, что и соседи с перепугу свои заставы перекрыли — как бы смута не перекинулась. Обозы встали. Обычным людям беда, а мне — чистая прибыль. За риск платить стали вдвое. Здешние тропы я знал наощупь. Здоровья хватало, вот и брался за то, от чего прочие крестились. Таскал грузы, что мимо кордонов по-тёмному ходят: соль без клейма, табак без пошрины, ртуть в тяжёлых колбах. А случилось — и такое, чему имени нет вовсе.

Тогда и свёл меня случай во Львове с одним учёным человеком с цесарской службы. Далматинец. Это, добрые люди, не пёс пятнистый, как кое-кто из вас сейчас подумал, — это народ такой. Живут у тёплого моря, в Далмации, говорят почти по-хорватски, только глаже, будто им слова перед выдачей утюжат. Чистенький, глаза умные и усталые. Имени не назову — я и тогда знал его нетвёрдо. Он отдал мне поклажу. С виду — чисто поповский клобук, только перевернутый, а маковка наглухо стянута завязками. Тяжёлый не по росту. По кромке шиты знаки, каких я не читал. Он велел свезти его на Волчье седло, отдать троим, забрать у них вторую половину платы и убираться.

Слова он цедил скупно, но со знанием дела. Наказал держать в холоде. Не открывать. Она, говорит, пьёт людское тепло. А пуще всего жирует, когда люди рядом грызутся.

Я запнулся об это «она», да переспрашивать не стал. Ему виднее, какого она роду.

— Быть на седле к первому дню листопада, — сказал он.

Для верности назвал месяц по-нашему и разложил всё по пальцам. Числа он держал твёрдо, как человек, привыкший к ним по службе.

До седла было шесть дней пути, и дни выпали добрые. Винный край. Воздух тут липкий, тянет брагой и прелым жмыхом с обочин, тяжёлые телеги ползут на север, скрипят немazanыми осями. Всякий встречный купец тебе и брат и сват, покуда не знает, что у тебя под рогожей. Я ехал не спеша, грелся на последнем тепле, прикидывая барыш за даровой извоз: свези да получи. На вторую ночь у костра не утерпел — развязал клобук, заглянул. Внутри лежал шар. Чёрный. Не как уголь и не как сажа, а как дыра — тьма, в которой взгляд тонул, словно в омуте. Я завязал его обратно, подбросил в костер дров и сел так, чтоб эта штука оставалась на виду. К таким вещам спиной не поворачиваются.

А потом полезли камни. Понизу шёл лёгкий путь, винный тракт с венгерского бока: по нему гнали на север токайское, вино королей. Да только тем троим, что ехали за моим грузом, людные дороги были заказаны не меньше моего, таким встречаться положено там, куда добрый купец не сунется. Вот заказчик и назначил Волчье седло — голый провал в хребте меж двух вершин, висящий высоко над главным ущельем. Седлом его звали за обличье: две вершины по краям, а меж ними прогиб. А Волчьим — оттого, говорят, что в незапамятные годы держал там логово волк ростом с телёнка и нравом с самого нечистого. На этой хребтине сходились глухие воровские тропы с двух сторон — цесарской да венгерской, — а посередине лежал голый, выдутый ветром камень.

На самом горле, на юру: места в обрез, конями едва разойтись, да и ветер выстудит глину прежде, чем схватится. Зато чуть в сторонке, под скальным навесом, в затишке, кто-то из бег-

лого люда втиснул корчму. Втиснул — верное слово: не поставил, а вмял в расщелину, низко, будто берлогу. И место тут корчме самое верное. Добрые дворы в долинах стоят. А кто по-тёмному на хребет сунулся — тому на самой круче нора нужна. Коня спрятать да самому оттаять вне чужого глаза.

Стояла она тут ещё при дедах и держалась одна на полсотни вёрст — другого затишка, где стена устоит, на том перевале нет. Но и тепла особого не хранила. Оно жалось к единственному очагу у стены, оставляя углы стынуть. Посередине — дубовый стол, врытый в землю намертво, вдоль него две лавки. У стены напротив стояли бочки, а при бочках — сам Лоринц. Из-под плиты в полу бил родник. Хлев на восемь стойл завели под ту же крышу. Широкие ворота — со двора, низкая дверца — прямо из сеней. На перевале иначе смерть. Завалит снегом, а тут вода под рукой и скотина за стеной дышит. Наружу соваться не надо.

Лоринц был стар. Левой ноги ниже колена у него не было — вместо неё торчала деревяшка. Принёс он её, люди сказывали, из-под Белграда, с той войны, когда принц Евгений отбивал у турка город. Ковылял на ней так ловко, что иной двуногий позавидует. Был он венгр — их на том пограничье полно сидело по корчмам да заставам, народ дорожный. За полвека на тракте перенял с пяток наречий и понимал, почитай, всякого. А говорить не любил.

Корчмарь глянул на мою поклажу. Не с любопытством. С усталостью. Налил, кивнул на угол у очага, взял монету.

Там я и устроился. Заказчик-то говорил — держи в холоде. А тёплый угол в корчме был один. У двери на сквозняке зубами клацать дураков нет, а чудака с цесарской службы мало ли чего набормочет, у учёных свои причуды. Не понесёшь же этакое добро в сени, к коням, без догляду. Так оно и лежало у огня, у моих ног, в тепле. Станете после считать, с чего всё началось, — посчитайте и это.

Глава II

Первым заявился южанин. Приземистый, широкий, борода лопатой, нож на поясе висит так, чтоб сразу в руку прыгнуть. Одежда тёплая, да крой не здешний — с турецкого пограничья, видать. Хорват.

Смерил углы, зацепил меня, упёрся в свёрток у ног. Больше ни души. Шагнул к очагу и сел напротив, на лавку поближе к огню. Так и тянулось: первый день, третий, целая неделя. Внутри только мы с южанином да Лоринц. Гостевых лежанок тут не водилось: гряды переходят за день, а кто застрял — упадёт где придётся, на лавке, на полу, у очага. За бочками, в тёмной нише, угадывался старый топчан, да только дураков лезть на хозяйское место не находилось — Лоринц чужих к своему углу не подпускал. Хорват же с первой ночи ушёл в хлев и лёг к кобыле своей под бок, в солому. При лошади он спал крепче, чем при людях.

— Листопад, — хрипел он. Загибал толстые пальцы, отсчитывал сутки. — Уговор.

И бил кулаком по столу так, что подскакивала кружка. Тут и гадать нечего, с чего он злой: приехал точно в срок и день за днём понимал, что остаётся в дураках. А меня грызла мысль попаршивее. Срок-то и по моему счёту вышел в первые же сутки. Раз кинули его — кинули, стало быть, и меня.

Первого ноября утром он стянул котомку, вывел из хлева кобылу и поехал вниз, выплюнув на прощанье ругань на меня, на Лоринца, на корчму и на всех своих несостоявшихся компаньонов. Тридцать один день просидел. И уехал за полдня до того, как поднялся к нам новый.

Тощий, аккуратный, в очках. Кафтан сидит ладно, лацканы широкие. Под ним — камзол с ровным рядом пуговиц. Он их нет-нет да пощупает: все ли на месте. Вошёл бодро, огляделся, спросил, где остальные. Понимал я его без труда — дело извозное.

— Один уехал, — говорю. — Нынче утром. Месяц прождал.

— Кто уехал?

— Хорват.

Его пальцы машинально скользнули по камзолу — проверили верхнюю пуговицу.

— Глупость. Сегодня первый день листопада, как и было условлено. Я прибыл в точности к сроку.

Был он с Богемии. Звали Вацлав.

В ту ночь горы встали на дыбы. Ударил буран. Ветер выл так, что Лоринц перекрестился, а он небось не крестился с самого Белграда. К утру тропу завалило по грудь.

Хорвата принесло обратно на другой день. Пешком, без кобылы — кобылу взяла метель. Полуживой, белый, с отмороженными пальцами на ногах. Грел он их потом у очага и выл.

Как оно у него вышло, он слов не тратил. Да они и не требовались: всё писано по сапогам, по рукам, по тому, с какой стороны приполз. Бурю пригнало снизу, с венгерского бока, и его она взяла на склоне раньше, чем нас наверху. На открытом плече, в слепой замети, кобыла либо оступилась, либо сорвала повод — с ней ушли харчи и огниво. Ночь он перестоял в камнях, без огня. К утру тропы внизу не стало вовсе. Я тамошнюю развилку знаю, бьётся на три рукава — сунься наугад и помирай в любом. Хребет же один, его в любую метель видно: держись ребра и иди. Он и шёл. Весь день, по пояс, вверх, к единственному очагу на полсотни вёрст. Гордый человек в горах — это будущий мёртвый человек. Хорват был злой, но не гордый.

Он ввалился и увидел Вацлава.

— Пичка ти материна, — сказал он с порога, почти не разжимая обмороженные губы. Дальше пошло громче: Бога, мать и весь Вацлавов род он уложил в десяток слов, как дрова в поленицу. — Кто платит за кобылу, курва? Ты платишь?

После той бури седло ещё держало проход — да только по гребню, по насту, и только для того, кому своя жизнь не дорога. Вацлав всё косился на дверь — прикидывал уйти вниз.

Глянул на Хорватовы почерневшие пальцы — и прирос к печке. А тем гребнем, пока он ещё пускал, поднялся к нам последний из троих.

Добрался он двенадцатого ноября. Пришёл сквозь самый хвост бури, ведя издыхающую лошадь под уздцы. Ввалился, отряхнулся, стянул заледеневшую рукавицу, перекрестился справа налево, широко, по-старому. Мазнул по нам троим тяжёлым взглядом и тут же расплылся:

— Ну вот и я, братцы. Первый день листопада, как уговаривались. А чего вы смурные?

Глава III

Звали его Янка.

Он шагнул к очагу. Вытащил кожаный кисет, зубами рванул шнурок, набил люльку. Сунул в пламя сухую щепу, поднёс к лицу. Чмокнул мундштуком раз, другой. Табак жадно занялся, бросив на лицо кровавый отсвет. Один глаз у Янки был живой — карий, бегучий. Второй — хрустальный. Не под парю. Голубой, чистой воды. Сторгованный, по его словам, в Вильне у немца-купца. Немец держал и карий, да просил вдвое. Янка рассудил просто: переплачивать за цвет грех, глядеть-то всё одно тем, который свой. Как он живой выронил, сказывал трижды, всякий раз разное, и всегда выходило, что сам он ни при чём. Хрустальный глядел всегда чуть выше и чуть мимо собеседника, в свою даль, и казалось, что Янка одним глазом говорит с тобой, а другим — с кем-то поважнее. Правду-то карий кричал, да только его не слушали. Взгляд сам лип к хрусталу. На него и велись. Верили стекляшке.

А чего мы были смурные — тут же при Янке и сосчитали. И вышла занятная арифметика.

Хорват приехал первого октября: у них месяц октябрь прямо так и зовётся — листопад. И по своей правде он был прав. Вацлав приехал первого ноября: у чехов листопад — это законный ноябрь. И по своей правде был прав и он. А Янка — грекокатолик из Полоцка, тащится по старому счёту, на одиннадцать дней позади просвещённой Европы; его первое ноября легло на наше двенадцатое. Выходит, прав и он. Я-то время меряю переправами да таможнями — своё давно позабыл.

Вацлав снял очки и растолковал, отчего так. Слова, сказал он, расселились по землям, как люди, и кое-где разминулись с месяцами. У одних народов листопад — это октябрь, у других — ноябрь, а слово одно на всех. Лист с дерева опадает раз в году — в этом-то все сходятся. А вот как этот месяц на бумаге обозвать, тут всяк считает по-своему, и сосед соседу не указ.

— Кто пишет на три края, — вставил Янка, — тот число цифирью ставит, а не словом.

— Заказчик число знал твёрдо, — сказал я. — Я при том стоял. Он мне день назвал и по пальцам разложил, цифирь у него в голове как на смотру. Он бы словом не написал.

— Он и не писал, — сказал Вацлав тихо. И надел очки. — Письма переписывает его человек. Здзислав. Есть у заказчика такой — перо золотое, а сам пропащий.

— Откуда знаешь? — спросил Янка.

— Видел я его. Раз в жизни. В Москве, в непотребном доме. У немки Лотты, за Яузой.

Янка присвистнул — про немку Лотту, выходит, слух и до него докатился.

Вацлав поглядел на него поверх очков.

— Я там по стекольному делу был.

— В доме? — спросил Янка ласково.

— Рядом. А ты, я гляжу, со знанием свистишь.

— По соляному делу, — сказал Янка.

Возле того дома, как я понял, много кто стоял исключительно по делу: кто по стекольному, кто по соляному. И всяк — совершенно случайно.

Вацлав продолжил.

— Этот Здзислав там гулял третьи сутки. Пил так, что хозяйка ему уже не наливала, — так он капал себе в вино сонных капель. Аптекарь ими смерть отмеряет, по три капли на приём. А этот лил и не считал. Шлюхам сказывался первым человеком при учёном господине: вся, мол, переписка через него, с бумагами в самую Москву гоняют. А под утро писал хозяйке расписку на долг. Я ту расписку видел. Рука писарская, чистая, буква к буквке, хоть в королевскую канцелярию. Хвостик у «веди» заваливает влево, всегда одинаково, — из тысячи узнаю, дело моё стекольное, я на ярлыки да накладные нагляделся.

Он помолчал.

— А по осени я ту самую руку узнал в своём письме. И хвостик тот.

Дальше складывалось само, без зазора. Заказчик называет день, числа по пальцам пере-
кладывает — а Здзислав кивает, скрипит пером, и руки у него с утра ходуном. Сел переписы-
вать в три края, вывел во всех трёх «первого дня листопада» — всяк на своём языке, буква
к буквке, рука-то и с перепоею свою колею знала, — а господское число забыл начисто. Мину
под нас четверых заложил не злодей и не учёный господин. Заложил её похмельный слуга с
чистым почерком.

Хорват выслушал мой перевод молча. Потом повторил по складам, дважды: Здзи-слав.
Так заучивают имя должника.

Перед делом устроили сверку. На стол легли три письма с печатями и три монеты. Жёл-
тые, тяжёлые. Ноготь входил, как в воск.

Не утерпел тут и я:

— А вещь-то вам эта на что? На кой её три края съезжаются забирать?

— Тебе заплачено за воз, не за вопросы, — отрезал Вацлав, водя пальцем по строкам.

Янка усмехнулся, повернулся ко мне, будто и не слышал чужой отповеди.

— А сам-то ты чей будешь?

— Из Сибири я, — говорю. — Покровское, слобода под Тобольском. Вы и не слышали
небось.

— Тобольск слышал, — сказал Вацлав. — Столица Сибири. Это ж где конец света?

— Не. Конец света дальше. У нас его только видать в ясную погоду.

Янка хмыкнул.

— И далеко ж тебя занесло от своего конца света, Покровское. Дома, что ли, заработка
нет?

— Дома у меня нет. Слобода наша ямская, я при лошадях с мальства — гонял обозы
по тракту, как отец и дед. Женился в девятнадцать. В двадцать, по зиме, взял первый дальний
извоз, до Ирбита и обратно, восемь недель. Вернулся — а ворота крест-накрест заколочены.
Оспа прошла по слободе, пока я ездил. Жену и сына я довёз до погоста одним возом, благо
невелика была поклажа. Постоял. Развернул сани на закат и поехал. Ехал, покуда понимал, что
люди вокруг говорят. Потом ещё столько же. С тех пор вожу чужое. Своего больше не вожу.

— Звать-то как? — спросил Янка.

— Григорием крестили.

— Ну вот, Рыгор, — сказал он. — А то возит и возит, а кто возит — неведомо.

Вацлав сложил листы в ровную стопку.

— Почерк один. Печать одна. Да только с мёртвого бумагу снять легче, чем сапоги. Почём
мне знать, что вы те самые?

Янка усмехнулся:

— Ну а як же. Прирезал настоящего Янку на глухой дороге, письмо за пазуху, кобылу
под седло — и сюды.

Вацлав поднял голову. Посмотрел на него. Не в хрустальную обманку — прямо в живой
карий глаз. Взглядом человека, что привык потрошить без ножа. По стекляшке прошёлся
вскользь.

— Богемская?

— Венецкая, — ответил Янка. Хохотнул и понёс дурную похабень про девок с Яузы.

Расписал, как тискал рыжую, в стену вжимал. Разошёлся — хрусталь и выскользни. Пря-
миком девке за пазуху. Доставать обождал — хмель да похоть разум залили. Завалил прямо
в корсете. Девка стонет, грудь ходуном, он на грудь глянул — из-под шнуровки зрачок синий
показался и тарашится.

Чех взгляд не отводил. Слушал.

Я-то грешным делом решил: разбирает он стекляшку, по ремеслу любопытно. А он не стекло просвечивал — Янку. Что Вацлав там на дне вычитал — бог весть. Только кивнул и признал: старался мастер, дорогая пустышка.

Глава IV

В горах глухо ухнуло — сошёл снег, — и Лоринц, не глядя, поставил на стол четыре кружки разом. Расчёт вышел быстрым. Трое сложили вторую половину платы. Я взвесил кошель на ладони. Тяжёлый, таким и коня свалить можно. Сунул его за пазуху и дал добро. Хорват с Янкой тут же вытащили шар из моего угла и водрузили на середину стола. Дело сделано — довёз, сдал, получил. Сиди теперь, пей, куда снаружи метёт.

А Вацлав тем временем потянул из-за пазухи лист. Ветхий, сложенный вчетверо, замуколенный по сгибам. Не письмо — наставление к самой вещи. Из них троих такая бумага была у него одного. Откуда он её добыл — Бог весть, а только к шару он подошёл со знанием дела.

Сперва там было писано про устройство света. Перескажу, как запомнил.

Мир, какой мы знаем, — одна клеть из многих. И жмутся они под одной крышей, стенка к стенке, и в каждой свой хозяин, свой свет, свои дни. А шар — прореха в перегородке. Что подле него ни положишь — слизнёт на ту сторону. А на пустое место выкинет то, что закажешь.

Про клетки я смекнул сразу. Не философ — ямщицкий сын: где конюшня, там и перегородки, и за каждой кто-то жуёт да переступает. Одно спросил: а в соседнем-то стойле чьё хозяйство?

Вацлав поглядел в лист. Потом на меня.

— Тут не писано, — сказал он.

А дальше шло про узду. Чтобы шар этот начал отдавать по твоей воле, его полагалось взнудать. Три человека, три монеты — и прижать в один миг. Как накинешь вожжи — вещь станет служить по слову. Вели да бери из чужих клеток что надобно. Хоть хлеб, хоть золото, хоть живую душу. Кто удержит вожжи долго да с умом — белый свет по своему краю перешьёт.

Вацлав голос оборвал. Палец к бумаге припечатал так, что ноготь побелел. Хорвату и переводить не пришлось — он воздух ртом схватил, а выдохнуть забыл. Я скосил на Янку: ухмылку с его морды как тряпкой стёрло. Живой глаз в щель стянуло, а стекляшка всё так же в свою даль глядела. А я взмок под рубахой. Весь белый свет, добрые люди. За такое глотки вскрывают без разговоров.

— Класть надо разом, втроём, в первый день листопада, — дочитал Вацлав.

Стало очень тихо. Потому что и наставление твердило те же треклятые слова. Хорватово первое число — месяц как за спиной, Вацлавово — одиннадцать дней назад, Янкино доживало последние часы.

— И там ещё строка, — сказал Вацлав. — Не в свой день кладено — не в свою сторону отворится.

— Что сие значит? — спросил Янка.

— Не знаю. Тут так писано.

По всему выходило — день упущен, и ждать теперь нового листопада через оборот года. А Янка от этого и оттолкнулся. Сказал не споря, тихо, как о погоде:

— Папа римский деньки перекаладывал, как ему глянулось. А она, гляди, постарше папы будет. По какому ж ей счёту жить, как не по старому? А по-старому нынче — первый день листопада. И до полуночи ещё ходу и ходу.

И повёл он это всё не хорвату, не мне — Вацлаву. Чех ведь как скроен? Ему ровный кирпич дай, так он его всё равно отвесом выверит. Скажи Янка «авось выгорит» — тот бы только сплюнул. А тут Янка подкатил складно, по-учёному: древняя мера, дескать, вернее новой, потому и без изъяна. И Вацлав кивнул. Будто шип в паз вошёл. Только я-то видел: плевать чеху на расчёты. Не проведёшь обряд — зря ехали в такую даль. Вот чех за Янкин календарь и ухватился.

Незадолго до полуночи трое разом прижали к шару свои монеты. Воздух чавкнул — коротко и жадно, как чавкает трясина под сапогом. Монеты втянуло. Ни вспышек. Ни голоса. Ни знака.

Из кармана чех выудил стекляшку. Пристроил на досках вплотную к шару.

— Увеличить кратность, — припечатал сухо, как фельдфебель на плацу.

Воздух чавкнул, влажно и тяжело. Стекляшка пропала. Вацлав впился в черноту. Замер, дышать перестал — всё высматривал, как яма отрыгнёт ему диковину. А прореха молчала.

Он снял очки. Долго смотрел на стол.

— Не взялось, — выдавил наконец. — День не тот.

Извёлся он по той безделице люто. После всё втолковывал мне: линза-де редкая, стекло заморское, «охро-матическое».

Сама же вещь тем часом переменялась. Сунулись мы класть её обратно в клубок, а она в горловину не лезет. Раздалась в боках на добрый палец, гладкая, холодная. Не взнуздали мы её. Разбудили.

И горы про то доложили первыми: ровно в полночь сошла лавина, за ней вторая, а потом звук гулкий, стены затряслись — будто сам Бог уронил что-то тяжёлое. И снегом завалило ровень с верхним косяком. За окном встала белая стена. Ни щёлки, ни просвета.

Вот тогда я на вещь и нагледелся вблизи. Вроде и шар: круглая, выпуклая. А вроде и дыра. То ли яма ушла вглубь, то ли горб торчит. Глаз в темноте тонет и нигде не цепляется, и от этого мутит, будто заглянул, куда живому заглядывать не велено.

Наутро пропала кружка. Хорват сунул её на доски возле шара и обернулся обложить Лоринца за тёплое пиво. Глядь обратно — кружки нет. На её месте лежал кусок конского навозу. Тёплый ещё. Хорват дёрнул с пояса нож, зыркнул на Янку — тот на грязные шутки был горазд. До резни не дошло. В тот же день мы стащили шар в дальний угол, с глаз долой.

Дальше пошло гуще. Оброненная в углу рукавица к утру обернулась пучеглазым речным раком. Кусок репы — мокрым голяшом. Лоринц выронил там ключ, нагнулся поднять — а по доскам, суча лапами, чесанул чёрный жук. Тут до нас и дошло, что шутник не Янка, а штуковина та: что к ней близко ляжет, то и подменит. По Вацлавовой грамоте выходило так же, только вожжи держали не мы.

Янка полез первым. Сцапал с пола кость. Подмигнул живым глазом: глядите, дескать. Швырнул в угол. Утроба чавкнула. На пол шлепнулась мокрая лягушка. Квакнула и упрыгала к бочкам. Янка захохотал, как дитя у балагана. И пошла потеха: кидали кто что — щепку, черепок, ложку, — и всякий раз вынимали невесть что, и спорили наперёд, кому какая дрянь выпадет. Игра, добрые люди. Вот так оно поначалу и было — игра. Это уж после стало не до смеху.

Швырнул раз Лоринц худой прорванный валенок — а выкатился круг брынзы, овечьей, в палец толщиной, в листе. Хорват отломил, кинул в рот — и замер. Жевал медленно. И проступил под бородой мальчишка с мокрыми от счастья глазами. Это, говорит, не корчемная дрянь. Это с родины. С полонин, где трава по пояс. Сидит здоровенный мужик, жуёт сыр и чуть не плачет. Иного броню десять зим не пробьёшь, а тут — кус овечьего сыра свалил наповал. Больше ту брынзу никто не тронул. В погребе у Лоринца, над студёной жилой, ещё болталась говядина. А ямную снедь жрать брезговали. Сваливали в тот же ледник, до худших времён. А на хорвата после той брынзы поглядывали.

Чех при нашей потехе опись вёл. Слева — что сунули, справа — что вышло. Раз вскочил, швырнул лист исписанный, замотал свои пожитки вокруг себя. С живого, говорит, она не снимает. С того дня мы спали обвешанные барахлом, что цыгане на торгу. А вот закона в мене чех не нашёл. Положишь сапог — вынешь добрый кус говядины с жиром. Положишь второй — горсть битого стекла. Вацлав скрипел пером до утра, выверял свои расчёты, а они рассыпались. Игральная кость о шести тысячах граней, цедил он.

А была у той вещи и другая повадка. Угол её затягивало стынью. Тянуло ледяным сквозняком, не вдруг, а крадучись: сперва иней облепил ближний валун, через седмицу выбелил второй. Дыхание у того угла шло паром, а очаг наш грел будто скупее. Трое жались к огню, тёрли руки. А на мне горный ямщицкий тулуп. Мне их огонь был пока не нужен. Сел у двери, наблюдал.

К ноябрю припаса оставалось на пару дней. Растянули на семь: краюху крошили впятером, баранью кость вываривали до белизны. Там и сено вышло. Кони в хлеву шатались, стало ясно — падут скоро. Тогда взялись за них. Первой Лоринц пустил под нож Янкину. Слопали, не перекрестившись. До Рождества сожрали моего мерина и Вацлавова. Голодная утроба не разбирает. Старая конина жилистая, дублёная. Жевать её было что грызть старое седло. Во рту растекался не мясной навар, а вкус ржавого железа и невымытого зверя. Долго потом не сплунешь.

Хорват конину не ел.

— Не могу, — сказал он раз. И всё. Объяснять не стал, да и не надо было: кто месяц грел спину о бок своей кобылы, — тот её родню жевать не сядет. Хоть помирай.

Он-то первым и полез в ледник за харчами из дыры. А мы кривились. Конина своя, понятная. А что из дыры вылезло — то чужое, не от Бога.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.